

Андрей Боген

КРУПНИМ ПЛАНОМ

В июне 1979 года я второй раз не поступил в Мухинское училище, опять провалившись на экзамене по композиции. Это был странный и в общем довольно мрачный период в моей жизни. После лихорадочной подготовки, изнурительной работы, после почти круглосуточных занятий с группой абитуриентов, которых готовил некий Сергей Алексеевич, грузный лысеющий мужчина лет сорока с редкой бородкой, одетый в живописный потрепанный блейзер и утверждавший, что поступят те, у кого есть талант, после бессонных ночей и нервного напряжения, после всего этого для меня наступило время апатии.

Теперь я долго спал по утрам, а проснувшись, долго лежал в постели, прислушиваясь к шелесту листьев, детским крикам и тарактению автомоторов во дворе, потом долго слонялся по пустой трехкомнатной квартире, что-нибудь жевал, доставал с полки и листал, не читая, какие-то книги, которые потом мама или отчим находили в самых неожиданных местах. Мне не хотелось никуда идти, ничего делать, ни о чем думать.

Дело было даже не в моем провале на экзамене, даже не в том, что я как будто оказался лишенным таланта /в откро-

вения нашего Сергея Алексеевича я никогда особенно не верил/, самым неприятным было то, что теперь мне, похоже, приходилось рас прощаться с мечтой стать профессиональным художником и уступить настояниям мамы поступать в августе в любой другой вуз. В том, что этот вуз гуманитарный, не могло быть никаких сомнений. Техника меня всегда только пугала, а по физике и алгебре я всю мою жизнь в школе имел твердую тройку и лишь благодаря системе экзаменов получил в аттестате четыре.

Какой из гуманитарных вузов окажет мне честь зачислением в свои ряды, мне было глубоко безразлично. В глубине души я был уверен, что не поступлю ни в какой. Но мне не хотелось еще раз огорчать маму. А кроме того, были и другие важные причины, одиночество, например.

И вот в один из хмурых /хотя небо было темно-голубым и солнце, клонясь к западу, сверкало достаточно ярко/ вечеров на семейном совете я объявил, что, если уж поступать в какой-нибудь другий вуз, то, пожалуй, я бы выбрал филологический факультет университета. Мама спокойно посмотрела на меня и пожала плечами:

— Конкурс огромный. А впрочем, это лучше, чем ничего. Я поговорю с папой.

Надо сказать, что папой моего отчима называет только она. Я обращаюсь к нему на вы и говорю Алексей Федорович. Не то чтобы я плохо относился к этому импозантному мужчине крепкого телосложения в модных дымчатых очках и с прической ежик. Просто у меня есть еще мой настоящий отец, которого я после их развода с мамой и раньше видел урывками, раза два в полгода, а после окончания школы почти не видел вообще. Когда примерно месяца через два после их развода у нас появился отчим и мама стала называть его папой, это создало страшную путаницу, так как я тогда долгое время не мог понять, о ком же все-таки идет речь. Постепенно, впрочем, все стало на свое место: мама называла отчима папой /о моем настоящем отце она, насколько я могу помнить, — не упоминала с тех пор ни разу/, а я звал его Алексей Федорович.

Дня через три после моего разговора с мамой, этот - самый Алексей Федорович или папа, если вам угодно, постучался ко мне в комнату, вошел, сел на угол тахты и, глядя сквозь дыни дымчатые очки своими, как мне всегда казалось, пустыми, но с затаенной холодной скорбью глазами, прямо мне в лицо, сказал:

- Будешь поступать на филологический? Торопись подать документы. Подавай на русское отделение. Я кое с кем поговорил. Конечно, ничего обещать не могу, но на русском и - английском тебе помогут. Ну а историю, - тут он чуть, одними губами, улыбнулся, - историю ты должен знать. Понял?

Я сидел на краю своего письменного стола рядом с пепельницей и стопкой книг по искусствоведению и кивнул.

После моего кивка он некоторое время молча смотрел на меня, потом тяжело поднялся, одернул синюю спортивную куртку, в которой обычно ходил дома, и добавил:

- Так что давай, действуй.

И вышел.

На другой день, выскочив из троллейбуса перед отливавшим осенней зеленоватой голубизной, таким таинственным для меня в этот момент дворцом Петра II и чуть не надевев в дверях на какую-то рассеянно взглянувшую на меня девицу, я взбежал по лестнице мимо книжного киоска на второй этаж, презрительно взглянув на очереди мамаш, столпившихся у перил лестничной площадки, на их дочек, две или три из которых показались мне весьма ничего, и твердым уверенным шагом вошел в аудиторию приемной комиссии. Возможно, настолько уверенным, что девушка /она при других обстоятельствах тоже, наверное, показалась бы мне ничего/, вручившая мне анкету и бланк заявления, посмотрела на меня как-то странно. Когда с формальностями было покончено и мне был выдан новенький, уже третий в моей жизни экзаменационный лист с моей прошлогодней физиономией в левом верхнем углу, я снова вышел на лестничную площадку, отошел в сторону, не торопясь достал из своей синей сумки пачку сигарет и закурил. Поодаль о чем-то говорили притих-

шие и взъерошенные мамаши. Сизый табачный дым медленно поднимался и плыл в косых лучах, проникавших сквозь узкие окна. Что ждет меня здесь? Начнется ли здесь новый период моей жизни или это будет лишь продолжение старого с моими, увы, несостоявшимися пока мечтами, моими надеждами, стремлениями и моей тоской? Пока мне здесь нравилось. Я испытывал что-то похожее на внутренний подъем. Горький дым сигареты отрезвлял и гасил его.

Экзамены прошли до необычайного спокойно. На английском, основном экзамене, на котором при любых других обстоятельствах я неминуемо не получил бы ничего больше трех, экзаменатор, серьезный молодой человек с рыжими усами с самым серьезным видом выслушал мой сбивчивый рассказ о "выдающихся людях нашей страны", который я кое-как подготовил накануне и, ни слова не говоря, нацарапал на моем листе "пять".

По истории я, правда, получил четыре, но это уже не играло роли, и я почти не удивился, увидев свою фамилию, отпечатанную на листике, в списке тех, кто зачислен на первый курс. Странный это был день.

Выйдя с факультета, я медленно побрел по набережной, мимо Академии художеств, мимо желтоватого дома со множеством мемориальных досок, черневших как пломбы, мимо барж, буксиров, катеров, столпившихся у набережной, как мамаши абитуриентов, и глухо чавкающих ватер-линиями в тяжелой маслянистой воде.

Странные чувства охватили меня. Это была и какая-то новая тихая радость оттого, что я, наконец, чего-то добился и стал студентом, и скрытое чувство досады оттого что добился я все-таки не того, чего так хотел и ждал все эти годы. Это было и облегчение, потому что кончился, наконец, этот непонятный, тяжелый, ни на что не похожий период моей жизни, когда я сам не знал, кто я, что я, что со мной будет, и растерянность оттого, что я не знал, чем же мне теперь жить.

На том берегу за блестевшей солнечными зайчиками Не-

вой в предвечерней августовской дымке плыли заводские корпуса. И мне захотелось вдруг написать акварель: вот эта река, зайчики, дымка и резкие металлические корпуса, крыны, доки сквозь все это. Но я тут же вспомнил о своей двойке за композицию, сразу стало как-то обидно и пусто, все показалось глупым и бессмысленным. И я, конечно, так ничего и не написал.

Первые дни занятий прошли довольно насыщенно. Я с жадностью набросился на учебу, ходил на все лекции, хотя теперь я совершенно не помню, о чём же говорилось на них. Вопреки моим ожиданиям, особой студенческой жизни у нас не было: все приходили, отсиживали положенные часы, курили и болтали в перерывах, а потом быстро расходились — всех ждали свои личные дела и своя собственная настоящая жизнь. По крайней мере, именно так мне казалось в первый месяц на факультете. Да я собственно и не знал, с кем мне следует свести знакомство: из всех девочек в нашей группе ни одна по-настоящему мне не нравилась. То есть, многие из них были вполне привлекательны, но в каждой была какая-то, часто неуловимая черта, которая меня отталкивала: или слишком длинный нос, или слишком резкий смех, или недостаточно правильный выговор. И я спокойно проходил в аудиторию, садился по возможности сзади у окна и старался слушать и запоминать.

Постепенно лихорадка первых дней с меня соскочила: я понял, что на лекции по фольклору и по введению в литературоведение ради этого самого фольклора и этого самого литературоведения лучше неходить. А вот на практические занятия по русскому языку, на старославянский язык и на лекции по введению в языкознаниеходить надо, иначе не сдать зачет.

Кроме того, мне стало невыносимо ездить к первой паре. Каждое утро мама будила меня, я делал вид, что встаю и иду умываться, а на самом деле лишь ждал, когда за мамой захлопнется дверь. Тогда я возвращался в свою еще не успевшую остыть постель и засыпал снова, обычно еще на час. Мало помалу этот час превратился в полтора, а позже и

в два.

Потом я все-таки просыпался, кое-как сползая с койки, лениво завтракал и ехал к третьей или четвертой паре, да и тогда шел на занятия только, если успевал выпить в буфете чашку двойного кофе. Так продолжалось долго. Примерно до середины октября.

Похоже, что этот мой образ жизни начал вызывать у моих сокурсников что-то похожее на уважение. Ко мне подходили и пытались завязать разговор, на мои довольно неуклюжие, по-моему, остроты смеялись, иногда предлагали дать списать пропущенную лекцию.

- Эй, как ты собираешься сдавать сессию?! Ведь ты же ни черта не знаешь! - крикнула мне одна девчонка из параллельной группы, когда я часа в два поднимался по лестнице и столкнулся с ней на повороте. И вот тут меня будто что-то укололо и какое-то заднее чувство шепнуло: "Вот оно! Наконец-то! И наверняка!"

У нее были широкие полные ляжки, широкие скулы, небольшая грудь под темным свитером, круглые серые глаза с длинными ресницами и прямые желтые волосы, схваченные на затылке в "конский хвост". Так получилось, что с факультета мы в этот день вышли вместе и, когда она, будто в растерянной неопределенности, что же ей делать, привившись, посмотрела на серый, подернутый тучками ветреный день, я быстро взглянул на нее и как бы невзначай, как бы только сейчас это сообразив, бросил: "Слушай! Пошли в кино?"

Фильм был какой-то дурацкий и невыразительный, как и тот серенький осенний денек, с то и дело начинавшим моросить холодным дождем. Но я мало обращал внимания на экран. Гораздо больше меня волновало то, что было рядом со мной: ее рука, лежавшая на подлокотнике кресла, от прикосновения которой я готов был вдрогнуть, ее дыхание, к которому я прислушивался, пытаясь понять, не звучит ли оно как-то необычно, ее белый профиль, устремленный на экран, но на самом деле, конечно, повернутый ко мне. Мне

хотелось ее обнять, прижаться к ней, почувствовать ее пахнущее духами и потом тело, я даже подумал, что, наверное, должен это сделать, но так в конце концов в тот раз и не решился.

Потом мы еще несколько раз ходили вместе в кино, курили и пили кофе на факультете, после занятий шатались по улицам, а затем я провожал ее домой. Я узнал, что она то ли из Архангельска, то ли из Петрозаводска, что кончила школу года четыре тому назад, проучившись потом год в местном пединституте, бросила его и поехала в Ленинград, поискать что-то поинтереснее. Поступала она два года, но поступила только на третий, сама не зная как. Узнал я, что она не живет в общежитии, потому что там, по ее мнению, мерзко и ужасно, а снимает комнату у какой-то старушки.

— Заходи, все увидишь, — сказала она как-то раз вечером, когда мы возвращались после очередного препустяшего фильма. — Хозяйка уже спит. Так что ничего не бойся, только ходи потише.

Мы поднялись к ней на четвертый этаж и, когда мы в полной темноте пробирались по коридору к ее двери, она взяла меня за руку, и я, наверное, никогда не забуду ее теплую и влажную ладонь.

Когда мы вошли, она включила свет и, повернувшись, одновременно чуть насмешливо и чуть торжественно посмотрела на меня. Я протянул руку и потрогал ее волосы. Они были теплые и мокрые. Потом наклонился и поцеловал ее в лоб. Она тихо засмеялась. Тогда я обнял ее и поцеловал в губы. Звали ее Ирина.

Первые несколько дней после этого я словно купался — в каком-то своем безудержном молчаливом восторге. Не смущало меня и то, что в тот, самый первый раз у меня почти ничего не получалось в постели и получилось только в самом конце, когда она, несмотря на все свои усилия и свой веселый, почти счастливый вид, наверное, уже потеряла всякую надежду. Мне казалось, что все мои беды теперь кончились и я, наконец, нашел то, что мне нужно. О ней я тогда почти не думал.

Но ведь было же в это время и другое. Мои рисунки, мои акварели, которые я так и не бросил и за которые все эти два месяца снова и снова принимался по вечерам. Один за другим готовые, исчерченные темными линиями или залитые разноцветными пятнами готовые листы ложились на мой письменный стол, но еще чаще я недоделывал работу, бросал ее на середине, чтобы взяться за что-то новое, что неожиданно приходило мне в голову и на несколько дней захватывало меня, а потом точно так же уступало место новому замыслу, но все равно, и доделанное, и недоделанное в конечном итоге сваливалось в общую кучу, которая все росла и росла на моем книжном шкафу.

Что я рисовал тогда? Желтые листья парка, заброшенный пруд под дождем, одинокого мальчика, играющего этими листьями, пустынную вечернюю улицу в густых сумерках, сиреющие дома на ней, окна, упорно напоминавшие чьи-то равнодушные, усталые, но от этого еще более загадочные глаза. И конечно, этим одиночным мальчиком на дорожке парка был я, эти усталые и загадочные глаза смотрели на меня.

— Как твои дела в университете? — спросила меня как-то раз мама. Это было уже в ноябре, даже в конце ноября, когда по утрам в промозглом туманном воздухе крутились редкие снежинки, а мой медовый месяц был в самом разгаре.

Я пожал плечами.

— Нормально.

Они и в самом деле шли нормально.

В декабре я почти подружился с одним мальчиком из параллельной группы по имени Слава. Собственно, сбливило нас то, что он так же, как и я, пропустил какое-то невероятное количество занятий и теперь, так же, как и я, не знал, что ему делать. Зато он мог буквально часами говорить на самые разнообразные темы — от гонки вооружений до самых интимных моментов своей личной жизни, причем буквально с первой же встречи. Будучи человеком довольно-сдержаным и даже в общем-то скрытым, я и вообразить себе не мог ничего подобного, и поэтому он мне почти нравился.

В конце концов я решил, что когда подойдет время сессии, я просто пойду в библиотеку, возьму там учебники по всем предметам, положу перед собой вопросы к экзаменам и за несколько дней ко всему подготовлюсь. Точнее, я собирался пойти в библиотеку уже сейчас и уже сейчас начать готовиться, но все никак не мог собраться. Так шли дни.

И в середине декабря был тот серовато-белый зимний день, когда я, как обычно, приехал на факультет к третьей паре. Шел редкий мокрый снег, по Неве медленно ползли тяжелые темные льдины. Настроение у меня было не очень, голова с самого утра немного болела — видимо, сказывалась погода. Мне нужна была Ирина. Я хотел взять ее с факультета, пойти с ней куда-нибудь в кино или на выставку во Дворец молодежи, а потом поехать к ней, броситься в постель и забыть об этом мокром снеге за окном. А ее у меня не было. Я выкурил сигарету, перекинулся парой слов со знакомыми, выпил чашку кофе.

Наконец я увидел ее. Она вышла после лекции и, похоже, быстро направилась вниз, в гардероб. Это показалось мне странным. Странным, потому что она даже не сделала попытки поискать меня глазами, а наоборот, пошла очень быстро, будто стараясь остаться незамеченной. Какое-то внутреннее чутье кольнуло меня, чтобы я остался на своем месте и дал ей уйти так, как она того хочет, но я не послушался его, не поверил ему, в голове моей быстро промелькнуло какое-то совершенно дурацкое, нелепое, хотя вполне логичное объяснение того, что я сейчас увидел, и я сделал всего несколько шагов вперед и окликнул ее. Она обернулась и улыбнулась мне навстречу. Уже потом, вспоминая ее улыбку, я снова и снова пойму то, что понял, но что не захотел понять в тот момент: это была совсем другая улыбка, совсем не та, с которой она крикнула мне: "Андрей! Как ты собираешься сдавать сессию?" и совсем не та, с которой смотрела на меня, когда впервые привела к себе домой и я впервые потрогал ее волосы. В этот момент это была приветливая, но холодная, хотя и не явно холодная улыбка, таившая в себе раздражение и угрозу.

Я даже не спросил ее: "Куда ты идешь?". Я просто сказал: "Слушай, ты уже, конечно, кончила сегодня учиться? Не пойти ли нам куда-нибудь?". И тут же понял, как нелепо прозвучало все это. "Извини, я сегодня не могу. У меня дела", - продолжая улыбаться, ответила она, но как не в тон моим словам прозвучал этот ответ.

Я пожал плечами. Она повернулась и пошла, по-моему, даже не сказав мне что-нибудь типа: "Целую" или "До завтра". Просто повернулась и пошла.

Я выкурил еще одну сигарету и пошел следом. Над Невой висела густая мокрая мгла. Снежинки падали и таяли у меня на лбу и, когда я брел по набережной, всматриваясь в эту мглу, я вспомнил, как всего каких-то четыре месяца назад шел здесь светлым днем в конце августа, вспоминал, что думал и чувствовал тогда, глядя на солнечные зайчики на воде, вспомнил акварель, которую собирался нарисовать. Потом я снова подумал об Ирине, и ясно понял, что все кончено.

Потом было несколько тяжелых, темных, полных тоски и отчаяния дней, какие-то жалкие, беспомощные, унизительные попытки "бороться за нее", нелепые и очевидные в своей обреченности. Теперь, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю то время, вся эта история кажется мне обычной, банальной, абсолютно закономерной, если посмотреть на нее со стороны, и только одно было, пожалуй, странно: в течение тех неполных двух месяцев, что длился наш роман, Ирина казалась мне чем-то само собой разумеющимся, и только после всего оказалась вдруг самым главным, самым нужным, наполнявшим мою жизнь особым смыслом. Теперь я был подавлен, уничтожен, смят. Меня постоянно одолевала тоска и, что особенно важно, я все время мучился от неизвестности. Ведь в отличие от героев повестей прошлого века, я не перехватывал никакого письма, не становился случайным свидетелем интимного разговора, не слышал каких-нибудь сплетен "света" и поэтому мог только лихорадочно думать и строить самые невероятные догадки о том, что произошло.

Иногда мне вдруг казалось, что на самом деле все во всем не так плохо, что просто так совпали обстоятельства и мне неизвестно от чего, стало казаться, что она от меня уходит, то вдруг я решал, что это она кокетничает, чтобы придать себе побольше весу и заодно проверить мои чувства, то вдруг представлял, что это лишь минутное помрачение и через несколько дней она будет просить у меня прощения за свою жестокость. В этих мыслях я заходил далеко, но во все это время, что боролись во мне эти странные отчаянные надежды, в глубине моей души жила спокойная ясная холодная уверенность, что это конец и больше уже ничего не будет, уверенность, которую я почувствовал тогда на набережной под мокрым декабрьским снегом.

В конце декабря в один из темных вечеров я потащился вместе со Славой на переговорный пункт на Герцена. Ему надо было позвонить домой в какой-то дурацкий провинциальный городишко, и он предложил мне пойти с ним. Мне было все равно. Я пошел, чтобы не оставаться одному со своими мыслями, которые тогда вплотную подступали ко мне, но и сейчас в его обществе, в толпе я не мог от них избавиться. Я стоял на переговорном пункте, глядя на ряды ярко освещенных кабин, на извивающиеся очереди, на десятки разноцветных людей, ждущих разговора, в ушах моих звенели объявления телефонисток и гул голосов, а в голове по-прежнему проносились варианты избавления от мертвецкой тоски, которая все крепче сжимала меня со всех сторон.

И вдруг я понял: до чего все это глупо. О чем я думал? Чего я хочу? Ведь она не вернется, это ясно, но неужели во мне не осталось больше никакой опоры, ничего такого, чём я мог бы теперь жить? Ведь живут же чем-то все эти люди?

Наступал Новый Год. Тоскливыи он был, тот Новый Год, тоскливыи и мрачный.

Я вообще не люблю Новый Год. Когда-то, в детстве, это был мой самый любимый праздник. Но потом, когда я вырос, начал лучше разбираться в отношениях своих родителей и стремиться вырваться из дома, каждый раз выяснялось, что

в Новый Год мне как раз пойти некуда. Этот праздник словно выявлял мое одиночество, в котором я сам никогда бы себе не признался, а воспоминание о той радости, которую когда-то доставляла мне новогодняя ночь, делало ее еще более неприятной.

Но этот Новый Год был особенно тяжелым. Все раздражало меня: и напускная радость мамы, с которой она нацепляла игрушки на серую синтетическую елку, и шутовская торжественность Алексея Федоровича, с которой он водрузил на стол торт и бутылку шампанского, и какая-то праздничная мишура по телевизору. Я никак не мог избавиться от ощущения, что всем хорошо, у всех праздник, и только я один, до которого никому нет дела, не знаю, куда себя девать, куда деться от всего этого.

Когда часы пробили двенадцать, мы выпили по бокалу шампанского и, как мне показалось, с большим трудом впихнули в себя по куску торта; я сказал, что у меня болит голова и что я хочу спать. Особенно доканал меня "папин" новогодний тост: что-то о сложной международной обстановке и о новом десятилетии, в которое мы в ней вступаем. Уверен, что он подготовил и отрепетировал все заранее для произнесения на работе, а заодно решил произнести дома. Я пошел в свою комнату, включил лампу и сел за стол. Мысли прыгали в голове, как дождевые капли по асфальту. Сна не было ни в одном глазу.

Я взял с полки какую-то книгу и раскрыл ее перед собой, но даже не пытался прочитать хотя бы одну строчку.

И вот тут на какое-то мгновение я вдруг отчетливо увидел свою суть, свободную и от моих родителей, и от университета, и от Ирины, и от всех прохожих на улице и в метро, с которыми я когда-нибудь сталкивался, которых задевал плечом или просто когда-нибудь видел, и даже от моего творчества, которое - сейчас я ясно понимал это - было не мной, и она, эта суть, представилась мне, как какой-то серенький день где-нибудь в скучном райцентре, где перед облупившейся вывеской райпротторга толпятся тетки с потертymi сумками, а рядом с кучей мусора валяется старое заржавленное колесо. И какая-то тяжесть и безысходность

всего этого вдруг сковала меня и не отпускала несколько секунд. Я захлопнул книгу и вышел на балкон выкурить сигарету.

Была оттепель, падал мокрый снег. Во всех домах светились желтые и красноватые окна, но было тихо, только из соседнего двора едва донесались смех и крики какой-то подвыпившей компании. Где-то вдали проехала машина. Я не мог отделаться от ощущения, что все это уже когда-то со мной было. Потом я бросил окурок в падающий мокрый снег и вернулся в комнату.

Какое-то время я стоял будто в раздумье, глядя на свою тахту и свой книжный шкаф, такие обыденно знакомые и такие далекие в этот момент. Затем я вытащил все свои работы, сделанные за последнее время и швырнул их в кучу на пол. На самом верху оказалась написанная в голубоватых тонах акварель, изображавшая решетку какого-то канала. Я подошел и разорвал ее пополам. Мне хотелось разорвать или сжечь все эти работы, но едва я разорвал первую, как это показалось мне чем-то фальшивым и пошлым. Тогда я просто бросил куски в общую кучу и задвинул ее ногой под стол. Потом я достал еще одну сигарету и закурил.

Второго января я поехал на факультет. Город, заваленный снегом, казался пустым и каким-то еще не пришедшем в себя после Нового Года. Я вышел из метро на канале Грибоедова и долго стоял на галерее, глядя на проносившуюся по Невскому машины. Я ясно представил себе, как через полчаса войду в читальный зал, как окину взглядом множество склонившихся над книгами и тетрадями голов, как, стараясь не встретиться взглядом со знакомыми, отыщу себе место, сяду, раскрою учебник и как буду пытаться прочитать тут же ускользающие из головы слова, а сам в это время думать совсем о другом. Тягостная бессмысличество всего этого поразила меня. Для чего все эти люди суетятся, вбегают и выбегают из метро, семенят куда-то по Невскому, сидят в этих читальных залах и опять куда-то бегут. Чтобы стать такими, как мои родители? /Интересно, что они стали делать, когда я ушел к себе в новогоднюю ночь? На-

верное, молчать/. Или все они действительно надеются на какое-то призрачное несбыточное счастье, которое ждет их за ближайшим поворотом? Но ведь это нет, теперь я знаю это.

Потом я повернулся и пошел по Невскому. Целый день я бродил по городу, глядя, как медленно погружается он в темноту, заходил в какие-то закоулки, дворы, но где был и что видел, вряд ли мог бы сказать. Уже потом, через несколько лет, заходя иногда в те места, которые посетил тогда, я вдруг неожиданно узнавал их, и тот день с его чувствами, с его настроением, с его темнеющим серым небом вновь возвращался ко мне.

Я бродил по улицам, глядя в черные немые окна домов, — в темные спины прохожих, в их сосредоточенные лица и постепенно почувствовал успокоение. Словно какая-то тяжесть не то, чтобы свалилась с меня, а как-то растворилась во всем этом, будто я привык к ней и перестал ощущать ее.

Поздно вечером я вернулся домой. Родители пили чай, из их комнаты сочился голубоватый свет и слышалось ворчание телевизора.

— Где это ты шатался? — спросила мама, выходя мне навстречу. — Ты чего-нибудь ел?

— Ел, — ответил я. Мне хотелось скорее уйти к себе и остаться одному.

— Нет, я понимаю, что ты пил кофе и выкурил сигарету, — продолжала она. — Я тебя спрашиваю, ты что-нибудь ел?

— Да ел я, ел, — сказал я, пытаясь пройти мимо нее.

— Погоди. Как твои дела в университете?

Я остановился и задумчиво посмотрел перед собой. Узор на обоях напоминал профиль человеческого лица, то ли мужского, то ли женского, с маленьким, но хищно изогнутым носом. Странно, но я только сейчас заметил это.

— Мама, я хочу уйти из университета, — неожиданно для себя сказал я. — Я не буду сдавать сессию.

— Что? Что ты сказал? — быстро спросила она. — Ты хочешь уйти из университета? Как? Почему?

Я наконец посмотрел на нее. Глаза ее были широко рас-

крыты, а в уголках губ появились особые решительные складки.

— Я не могу тебе объяснить, — глядя сквозь нее, сказал я, — но так надо. Я так хочу.

— Хочу! — воскликнула она. — Мало ли кто чего хочет. Знаешь, сколько вещей хочу я? Это еще не причина. Изволька объясняться.

— Да, это не причина, — сказал я, уже глядя ей прямо в глаза, — само по себе это не причина. Но ведь и нет никакой причины поступать не так, как я хочу.

— Тебе просто не сдать сессию, — стараясь говорить спокойно, сухо сказала она. — Я так и знала: Провертел вона целый семестр и теперь на тебе... Ухожу. Какой ужас, — все так же сухо добавила она.

— Нет, мама, ты не понимаешь. Дело совсем не в этом, я опять глядел на обеи.

— А в чём? — раздался вдруг голос отчима, который выглянул к нам в коридор. На нем был его синий спортивный костюм, и глаза строго смотрели из-под больших очков в темной пластмассовой оправе. — В чём же тогда дело?

— Я не могу этого объяснить, — повторил я.

— А ты хоть знаешь, сколько мы заплатили за твоё поступление? — спросил он. — Знаешь, чего нам это стоило?

— Мне очень жаль, — сказал я.

Мы замолчали. Мне очень хотелось повернуться и уйти, но я понимал, что сейчас это невозможно.

— Вот так номер, — наконец сказала мама. — Но что же ты собираешься делать?

— Не знаю, — сказал я. — Это все так неожиданно. Наверное, я пойду работать. И сниму комнату. Жить я тоже хочу отдельно.

— Ах, вот оно что! — вскрикнул отчим с саркастической ухмылкой. Я давно заметил, что такая ухмылка появляется на лицах старших, когда они пытаются показать бесспорное превосходство над молодежью, но сами в этом превосходстве отнюдь не уверены. — Он будет работать! Интересно, кем? Что ты можешь делать? Писать свои дурацкие акварельки?

Уходит из университета, из дома, снимает комнату. Тоже мне Лев Толстой нашелся! Ну куда ты не уйдешь. Будешь сдавать сессию.

Я не стал с ним спорить, повернулся и пошел к себе. В моей комнате, едва включил свет, в глаза мне бросилась куча рисунков и акварелей под письменным столом. Я залез под стол и выгреб ее на середину комнаты. Сверху лежала та самая акварель, разорванная пополам. Я взял эти куски, сложил и подумал, что, наверное, их можно склеить. А впрочем, можно ведь написать и другую.

Так я сидел на полу, вертел в руках свои работы, и все становилось для меня легко и ясно, и я думал, что, наверное, многое могу.

С тех пор прошло несколько лет. Я не ушел из университета, не пошел работать, не снял комнату. Я забыл про Ирину и сейчас с большим трудом могу представить ее лицо. Я не могу вспомнить, как я тогда, со множества заходов, с бесконечными пересдачами и хвостами, но все-таки сдал сессию.

Но иногда я вспоминаю ту новогоднюю ночь, чей-то далекий смех в соседнем дворе и окурок, который я бросил в него, падающий мокрый снег с балкона. Вспоминаю я иногда и тот серый зимний день, когда я, не помню где, бродил по городу, и ту тяжесть, что растворилась тогда в морозной дымке. И уже совсем редко вспоминаю, как сидел на полу, вертел в руках акварели и думал, что многое могу.

• • •